

## СТЕПНОЙ ВОЛК

*1927, выдержки Дятловых от 03.08.2020, 1–19/105=82%*

1. С каким глубоким одиночеством свыкся он из-за своих склонностей и своей судьбы и сколь сознательно усматривал он в таком одиночестве свою судьбу, это я узнал, впрочем, лишь из нижеследующих, оставшихся от него записей;
2. и все же казалось, что он не очень-то в это вникает, что он сам себе смешон в своей роли и не принимает ее всерьез, что ему странно и ново снимать комнату и говорить с людьми по-немецки, ибо, по сути, внутренне он занят совсем другим.
3. Примирительнее настроило меня и то, что в его вежливости и приветливости, хотя они, видимо, стоили ему некоторых усилий, не было ни тени высокомерия — напротив, в них было что-то почти трогательное, что-то похожее на мольбу
4. Но внутренне, психологически, этот человек обоим нам, тетушке и мне, еще как мешал и был еще каким бременем, и, честно говоря, я от него еще далеко не освободился. Иногда я вижу его ночами во сне и чувствую, что он, что самый факт существования такого человека, по сути, мешает мне и тревожит меня, хотя я его прямо-таки любил.
5. Взгляд его был скорее печальным, чем ироническим, он был безмерно и безнадежно печален; тихое, почти уже вошедшее в привычку отчаяние составляло содержание этого взгляда.
6. Так будет лучше, ибо свою собственную персону мне хотелось бы по возможности оставить в тени. Я не хочу ни писать исповедь, ни рассказывать и ни пускаться в психологию, а хочу лишь как очевидец прибавить кое-какие штрихи к портрету этого странного человека, от которого остались эти записки Степного волка.
7. я почувствовал, что он болен, то ли как-то душевно, то ли какой-то болезнью характера, и свойственный здоровым инстинкт заставил меня обороняться.
8. Я понял, что Галлер — гений страдания, что он, в духе некоторых тезисов Ницше,[3] выработал в себе гениальную, неограниченную, ужасающую способность к страданию.
9. Одновременно я понял, что почва его пессимизма — не презрение к миру, а презрение к себе самому, ибо, при всей уничтожающей беспощадности его суждений о заведенных порядках или о людях, он никогда не считал себя исключением, свои стрелы он направлял в первую очередь в себя самого, он ненавидел и отрицал себя самого в первую очередь...
10. Со временем это оборонительное отношение сменилось симпатией, основанной на большом сочувствии к тому, кто так глубоко и долго страдал и чье внутреннее умирание происходило у меня на глазах.
11. Ибо в том-то он и был, несмотря ни на что, истинным христианином и истинным мучеником, что всякую резкость, всякую критику, всякое ехидство, всякую ненависть, на какую был способен, обрушивал прежде всего, первым делом на себя самого. Что касалось остальных, окружающих, то он упорно предпринимал самые героические и самые серьезные попытки любить их, относиться к ним справедливо, не причинять им боли, ибо «люби ближнего твоего» вьелось в него так же глубоко, как ненависть к самому себе, и, таким образом, вся его жизнь была примером того, что без любви к себе самому невозможна и любовь к ближнему, а ненависть к себе — в точности то же самое и приводит к точно такой же изоляции и к такому же точно отчаянию, как и отъявленный эгоизм.
12. Но пора мне отставить собственные домыслы и перейти к фактам.
13. Я не только человек бюргерской размеренности в быту, я к тому же не пью и не курю, и эти бутылки в комнате Галлера не понравились мне еще больше, чем прочий живописный беспорядок.
14. Как этот запах воска, которым натерт пол, и слабый привкус скипидара вместе с красным деревом, промытыми листьями растений и всем прочим создают благоухание, создают высшее выражение мещанской чистоты, тщательности и точности, исполнения долга и верности в малом. Не знаю, кто здесь живет, но за этой стеклянной дверью должен быть рай

чистоты, мещанства без единой пылинки, рай порядка и боязливо-трогательной преданности маленьким привычкам и обязанностям.

15. И это тоже хорошо, очень хорошо, — сказал он, — послушайте-ка: "Надо бы гордиться болью,[12] всякая боль есть память о нашем высоком назначении". Прекрасно! За восемьдесят лет до Ницше!
16. Разве это не остроумие? Конечно, они не хотят плавать! Ведь они созданы для суши, а не для воды.[13] И конечно, они не хотят думать; ведь они рождены для того, чтобы жить, а не для того, чтобы думать! Ну, а кто думает, кто видит в этом главное свое дело, тот может очень в нем преуспеть, но он все-таки путает сушу с водой, и когда-нибудь он утонет.
17. Сперва мне казалось это довольно смешным преувеличением, барской причудой, кокетливой сентиментальностью. Но мало-помалу я убеждался, что, глядя на наш мещанский мирок из своего безвоздушного пространства, из волчьей своей отчужденности, он действительно восхищался этим мирком, воистину любил его как нечто прочное и надежное, как нечто недостижимо далекое, как родину и покой, путь к которым ему, Степному волку, заказан.
18. Не нужно никаких больше рассказов и описаний, чтобы показать, что Степной волк вел жизнь самоубийцы.
19. Не сомневаюсь, что они по большей части сочинены, но это не произвольный вымысел, а попытка выразить что-то, облекая глубоко пережитое душой в форму зримых событий.
20. Нет, я убежден, что он не покончил с собой. Он еще жив, он где-нибудь ходит усталыми своими ногами по лестницам чужих домов, разглядывает где-нибудь сверкающие паркеты и ухоженные араукарии, просиживает дни в библиотеках, а ночи в кабаках или валяется на диване, который взял напрокат, слышит, как живут за окнами люди и мир, знает, что он отрезан от них, но не накладывает на себя руки, ибо остаток веры твердит ему, что он должен испытать душою до дна эту боль, эту страшную боль, и что умереть он должен от этой боли.
21. Но благодаря знакомству с Галлером я смог их отчасти понять, даже одобрить. Я бы поостерегся открывать их другим, если бы видел в них лишь патологические фантазии какого-то одиночки, несчастного душевнобольного. Но я вижу в них нечто большее, документ эпохи, ибо душевная болезнь Галлера — это мне теперь ясно — не выверты какого-то одиночки, а болезнь самой эпохи, невроз того поколения, к которому принадлежит Галлер, и похоже, что неврозом этим охвачены не только слабые и неполноценные индивидуумы, отнюдь нет, а как раз сильные, наиболее умные и одаренные.
22. Конечно, не все это чувствуют с одинаковой силой. Такой человек, как Ницше, выстрадал нынешнюю беду заранее, больше, чем на одно поколение, раньше других, — то, что он вынес в одиночестве, никем не понятый, испытывают сегодня тысячи.
23. Тут во мне загорается дикое желание сильных чувств, сногшибательных ощущений, бешеная злость на эту тусклую, мелкую, нормированную и стерилизованную жизнь, неистовая потребность разнести что-нибудь на куски, магазин, например, собор или себя самого, совершить какую-нибудь лихую глупость, сорвать парики с каких-нибудь почтенных идолов, снабдить каких-нибудь взбунтовавшихся школьников вождеденными билетами до
24. Гамбурга, растлить девочку или свернуть шею нескольким представителям мещанского образа жизни. Ведь именно это я ненавидел и проклинал непримиримей, чем прочее, — это довольство, это здоровье, это прекраснодушие, этот благоухоженный оптимизм мещанина, это процветание всего посредственного, нормального, среднего.
25. несмотря на свою ненависть к мещанству, нахожу что-то трогательное, люблю переступить затем порог собственной комнаты, где все это кончается, где среди нагроможденных книг валяются окурки сигар и стоят бутылки из-под вина, где все неуютно, все в беспорядке и запустенье и где все — книги, рукописи, мысли — отмечено и пропитано бедой одиноких, трудностью человеческого бытия, тоской по новой осмысленности человеческой жизни, утратившей смысл.
26. как любил я тогда такие темные и хмурые вечера поздней осени и зимы, как жадно в ту пору и опьяненно впитывал я в себя атмосферу одиночества и грусти, когда чуть ли не по целым ночам, в дождь и бурю, бродил, закутавшись в пальто, среди враждебной, оголенной

природы, одинокий уже и в ту пору, но полный глубокого счастья и полный стихов, которые затем записывал при свете свечи, сидя на краю кровати у себя в комнатке!

27. Что ж, это прошло, эта чаша была выпита и больше не наполнялась. Жалел ли я об этом? Нет, не жалел. Ничего не было жаль, что прошло... Жаль было моего сегодня, всех этих бесчисленных часов, которые я потерял, которые только вытерпел, которые не принесли мне ни подарков, ни потрясений.
28. Увы, трудно найти этот божественный след внутри этой жизни, которую мы ведем, внутри этой, такой довольной, такой мешчанской, такой бездуховной эпохи, при виде этой архитектуры, этих дел, этой политики, этих людей! Как же не быть мне Степным волком и жалким отшельником в мире, ни одной цели которого я не разделяю, ни одна радость которого меня не волнует! Я долго не выдерживаю ни в театре, ни в кино, не способен читать газеты, редко читаю современные книги, я не понимаю, какой радости ищут люди на переполненных железных дорогах, в переполненных отелях, в кафе, оглашаемых душной, назойливой музыкой, в барах и варьете элегантных роскошных городов, на всемирных выставках, на праздничных гуляньях, на лекциях для любознательных, на стадионах — всех этих радостей, которые могли бы ведь быть мне доступны и за которые тысячи других бьются, я не понимаю, не разделяю. А то, что в редкие мои часы радости бывает со мной, то, что для меня — блаженство, событие, экстаз, воспарение, — это мир признает, ищет и любит разве что в поэзии, в жизни это кажется ему сумасшедшим, и в самом деле, если мир прав, если правы эта музыка в кафе, эти массовые развлечения, эти американизированные, довольные столь малым люди, значит, не прав я, значит, я — сумасшедший, значит, я и есть тот самый степной волк, кем я себя не раз называл, зверь, который забрел в чужой непонятный мир и не находит себе ни родины, ни пищи, ни воздуха.
29. они были, как я, одинокими, сбившимися с пути забулдыгами, тихо и задумчиво топящими в вине свои обанкротившиеся идеалы,
30. Пусть я заблудший зверь, не понимающий мира, который его окружает, но какой-то смысл в моей дурацкой жизни все-таки был, что-то во мне отвечало на зов из далеких высот, что-то улавливало его, и в мозгу моем громоздились тысячи картин.
31. А кто искал за развалинами своей жизни расплывшийся смысл, страдал от того, что на вид бессмысленно, жил тем, что на вид безумно, тайно уповал на откровение и близость Бога даже среди последнего сумбура и хаоса?
32. Когда-то, в былые годы, я часто наслаждался этим счастьем, но и оно со временем удалилось и ушло от меня, между теми днями и нынешними пролегли увядшие годы.
33. Одиночество — это независимость, его я хотел и его добился за долгие годы. Оно было холодным, как то холодное тихое пространство, где вращаются звезды.
34. Когда я проходил мимо какого-то ресторана с танцевальной площадкой, меня обдало лихорадочной джазовой музыкой, грубой и жаркой, как пар от сырого мяса. Я на минуту остановился; как ни сторонился я музыки этого рода, она всегда привлекала меня каким-то тайным очарованием. Джаз был мне противен, но он был в десять раз милей мне, чем вся нынешняя академическая музыка, своей веселой, грубой дикостью он глубоко задевал и мои инстинкты, он дышал честной, наивной чувственностью.
35. Конечно, в сравнении с Бахом, Моцартом и настоящей музыкой, она была свинством — но свинством были все наше искусство, все наше мышление, вся наша мнимая культура, если сравнивать их с настоящей культурой.
36. А музыка эта имела преимущество большой откровенности, простодушно-милого негритянства, ребяческой веселости. В ней было что-то от негра и что-то от американца, который у нас, европейцев, при всей своей силе, оставляет впечатление мальчишеской свежести, ребячливости.
37. Не было ли то, что мы называем «культурой», духом, душой, не было ли то, что мы называем прекрасным и священным, лишь призраком, не умерло ли давно то, что только нам, горстке дураков, кажется настоящим и живым? Может быть, оно вообще никогда не было настоящим и живым? Может быть, то, о чем хлопочем мы, дураки, было и всегда чем-то несбыточным?

38. Но не научился он одному: быть довольным собой и своей жизнью. Это ему не удалось, он был человек недовольный.
39. Итак, у Степного волка было две природы, человеческая и волчья; такова была его судьба, судьба, возможно, не столь уж особенная и редкая. Встречалось уже, по слухам, немало людей, в которых было что-то от собаки или от лисы, от рыбы или от змеи, но они будто бы не испытывали из-за этого никаких неудобств. У этих людей человек и лиса, человек и рыба жили бок о бок, не ущемляя друг друга, они даже помогали друг другу, и люди, которые далеко пошли и которым завидовали, часто бывали обязаны своим счастьем скорее лисе или обезьяне, чем человеку. Это ведь общеизвестно. А с Гарри дело обстояло иначе, человек и волк в нем не уживались и уж подавно не помогали друг другу, а всегда находились в смертельной вражде, и один только изводил другого, а когда в одной душе и в одной крови сходятся два заклятых врага, жизнь никуда не годится. Что ж, у каждого своя доля, и легкой ни у кого нет.
40. хотя ему самому так казалось, ведь каждый человек считает страдания, выпавшие на его долю, величайшими
41. Например, если Гарри, поскольку он был человеком, осеняла прекрасная мысль, если он испытывал тонкие, благородные чувства или совершал так называемое доброе дело, то волк в нем сразу же скалил зубы, смеялся и с кровавой издевкой показывал ему, до чего смешон, до чего не к лицу весь этот благородный спектакль степному зверю, волку, который ведь отлично знает, что ему по душе, а именно — рыскать в одиночестве по степям, иногда лакать кровь или гнаться за волчицей, — и любой человеческий поступок, увиденный глазами волка, делался тогда ужасно смешным и нелепым, глупым и суетным.
42. ибо Гарри, как всякий, хотел, чтобы его любили всего целиком, и потому не мог скрыть, спрятать за ложью волка именно от тех, чьей любовью он дорожил.
43. и поэтому Степной волк вносил собственную двойственность и раздвоенность также и во все чужие судьбы, которые он задевал.
44. А облегчали, а смягчали ли эти короткие, редкие часы счастья лихую долю Степного волка, уравновешивались ли на круг страданье и счастье, или короткое, но сильное счастье тех немногих часов, чего доброго, даже перекрывало всю совокупность страданий, — это уже другой вопрос, над которым вольно размышлять людям праздным.
45. У всех этих людей, как бы ни назывались их деяния и творения, жизни, в сущности, вообще нет, то есть их жизнь не представляет собой бытия, не имеет определенной формы, они не являются героями, художниками, мыслителями в том понимании, в каком другие являются судьями, врачами, сапожниками или учителями, нет, жизнь их — это вечное, мучительное движение и волнение, она несчастна, она истерзана и растерзана, она ужасна и бессмысленна, если не считать смыслом как раз те редкие события, деяния, мысли, творения, которые вспыхивают над хаосом такой жизни.
46. Тут надо сделать еще одно замечание. Людей типа Гарри на свете довольно много, к этому типу принадлежат, в частности, многие художники. Все эти люди заключают в себе две души, два существа, божественное начало и дьявольское, материнская и отцовская кровь, способность к счастью и способность к страданию смешались и перемешались в них так же враждебно и беспорядочно, как человек и волк в Гарри.
47. Но в их же среде возникла и другая мысль — что человек, может быть, не просто животное, наделенное известным разумом, а дитя богов, которому суждено бессмертие
48. Ничто на свете не было ему ненавистнее и страшнее, чем мысль, что он должен занимать какую-то должность, как-то распределять день и год, подчиняться другим. Контора, канцелярия, служебное помещение были ему страшны, как смерть, и самым ужасным, что могло ему присниться, был плен казармы. От всего этого он умел уклоняться, часто ценой больших жертв.
49. Но среди достигнутой свободы Гарри вдруг ощутил, что мир каким-то зловещим образом оставил его в покое, что ему, Гарри, больше дела нет до людей и даже до самого себя, что он медленно задыхается во все более разреженном воздухе одиночества и изоляции. Оказалось
50. Так и Степной волк погибал от своей независимости.

51. что быть одному и быть независимым — это уже не его желание, не его цель, а его жребий, его участь, что волшебное желание задумано и отмене не подлежит, что он ничего уже не поправит, как бы ни простирал руки в тоске, как бы ни выражал свою добрую волю и готовность к общению и единению: теперь его оставили одного.
52. Другой отличительной чертой была его принадлежность к самоубийцам. Тут надо заметить, что неверно называть самоубийцами только тех, кто действительно кончает с собой.
53. «Самоубийца» — а Гарри был им — не обязательно должен жить в особенно тесном общении со смертью, так можно жить и самоубийцей не будучи. Но самоубийце свойственно то, что он смотрит на свое «я» — не важно, по праву или не по праву, — как на какое-то опасное, ненадежное и незащищенное порождение природы, что он кажется себе чрезвычайно незащищенным, словно стоит на узкой вершине скалы, где достаточно маленького внешнего толчка или крошечной внутренней слабости, чтобы упасть в пустоту.
54. Судьба людей этого типа отмечена тем, что самоубийство для них — наиболее вероятный вид смерти, по крайней мере в их представлении. Причиной этого настроения, заметного уже в ранней юности и сопровождающего этих людей всю жизнь, не является какая-то особенная нехватка жизненной силы, напротив, среди «самоубийц» встречаются необыкновенно упорные, жадные, да и отважные натуры. Но подобно тому, как есть люди, склонные при малейшем заболевании к жару, люди, которых мы называем «самоубийцами» и которые всегда очень впечатлительны и чувствительны, склонны при малейшем потрясении всю предаваться мыслям о самоубийстве.
55. Если бы у нас была наука, обладающая достаточным мужеством и достаточным чувством ответственности, чтобы заниматься человеком, а не просто механизмами жизненных процессов, если бы у нас было что-то похожее на антропологию, на психологию, то об этих фактах знали бы все.
56. Сказанное нами о самоубийцах касается, конечно, лишь внешнего аспекта, это психология, а значит, область физики. С метафизической точки зрения дело выглядит иначе и гораздо яснее, ибо при таком подходе к нему «самоубийцы» предстают нам одержимыми чувством вины за свою обособленность, предстают душами, видящими свою цель не в самоусовершенствовании и собственном совершенстве, а в саморазрушении, в возврате к матери, к Богу, к вселенной. Очень многие из этих натур совершенно не способны совершить когда-либо реальное самоубийство, потому что глубоко прониклись сознанием его греховности. Но для нас они все же самоубийцы, ибо избавление они видят в смерти, а не в жизни и готовы пожертвовать, поступиться собой, уничтожить себя и вернуться к началу.
57. Да, как во всех людях его типа, каждое потрясение, каждая боль, каждая скверная житейская ситуация сразу же пробуждали в нем желание избавиться от них с помощью смерти. Но
58. Таким образом, одной половиной своего естества он всегда признавал и утверждал то, что другой половиной оспаривал и отрицал. Выросши в ухоженном мещанском доме, в строгом соблюдении форм и обычаев, он частью своей души навсегда остался привязан к порядкам этого мира, хотя давно уже обособился в такой мере, которая внутри мещанства немислима, и давно уже освободился от сути мещанского идеала и мещанской веры.
59. «Мещанство» же, всегда наличное людское состояние, есть не что иное, как попытка найти равновесие, как стремление к уравновешенной середине между бесчисленными крайностями и полюсами человеческого поведения.
60. Если взять для примера какие-нибудь из этих полюсов, скажем, противоположность между святым и развратником, то наше уподобление сразу станет понятно. У человека есть возможность целиком отдаться духовной жизни, приблизиться к божественному началу, к идеалу святого. Есть у него, наоборот, и возможность целиком отдаться своим инстинктам, своим чувственным желаньям и направить все свои усилия на получение мгновенной радости. Один путь ведет к святому, к мученику духа, к самоотречению во имя Бога. Другой путь ведет к развратнику, к мученику инстинктов, к самоотречению во имя тлена. Так вот, мещанин пытается жить между обоими путями, в умеренной середине. Он никогда не отречется от себя, не отдастся ни опьянению, ни аскетизму, никогда не станет мучеником, никогда не согласится со своей гибелью, — напротив, его идеал — не самоотречение, а

самосохранение, он не стремится ни к святости, ни к ее противоположности, безоговорочность, абсолютность ему нестерпимы, он хочет служить Богу, но хочет служить и опьянению, он хочет быть добродетельным, но хочет и пожить на земле в свое удовольствие. Короче говоря, он пытается осесть посередине между крайностями, в умеренной и здоровой зоне, без яростных бурь и гроз, и это ему удается, хотя и ценой той полноты жизни и чувств, которую дает стремление к безоговорочности, абсолютности, крайности. Жить полной жизнью можно лишь ценой своего «я». А мещанин ничего не ставит выше своего «я» (очень, правда, недоразвитого). Ценой полноты, стало быть, он добивается сохранности и безопасности, получает вместо одержимости Богом спокойную совесть, вместо наслаждения — удовольствие, вместо свободы — удобство, вместо смертельного зноя — приятную температуру. Поэтому мещанин по сути своей — существо со слабым импульсом к жизни, трусливое, боящееся хоть сколько-нибудь поступиться своим «я», легко управляемое. Потому-то он и поставил на место власти — большинство, на место силы — закон, на место ответственности — процедуру голосования.

61. Ответ: благодаря степным волкам. На самом деле жизненная сила мещанства держится вовсе не на свойствах нормальных его представителей, а на свойствах необычайно большого числа аутсайдеров, которых оно, мещанство, вследствие расплывчатости и растяжимости своих идеалов, включает в себя. Внутри мещанства всегда живет множество сильных и диких натур. Наш Степной волк Гарри — характерный пример тому.
62. воспарить к абсолюту
63. Таково его положение в мироздании, такова его скованность. Большинство интеллигентов, подавляющая часть художников принадлежит к этому же типу. Лишь самые сильные из них вырываются в космос из атмосферы мещанской земли, а все другие сдаются или идут на компромиссы, презирают мещанство и все же принадлежат к нему, укрепляют и прославляют его, потому что в конечном счете вынуждены его утверждать, чтобы как-то жить.
64. Трагизм
65. Другим же, не вырвавшимся, чьи таланты мещанство часто высоко чтит, открыто третье царство, призрачный, но суверенный мир — юмор. Беспокойные степные волки, эти вечные горькие страдальцы, которым не дано необходимой для трагизма, для прорыва в звездный простор мощи, которые чувствуют себя призванными к абсолютному, а жить в абсолютном не могут, — у них, если их дух закалился и стал гибок в страданиях, есть примирительный выход в юмор.
66. Юмор всегда остается в чем-то мещанским, хотя настоящий мещанин не способен его понять. В его призрачной сфере осуществляется запутанно-противоречивый идеал всех степных волков: здесь можно не только одобрить и святого, и развратника одновременно, сблизить полюса, но еще и распространить это одобрение на мещанина. Ведь человек, одержимый Богом, вполне может одобрить преступника — и наоборот, но оба они, да и все люди абсолютных, безоговорочных крайностей, не могут одобрить нейтральную, вялую середину, мещанство, один только юмор, великолепное изобретение тех, чей максимализм скован, кто почти трагичен, кто несчастен и при этом очень одарен, один только юмор (самое, может быть, самобытное и гениальное достижение человечества) совершает невозможное, охватывая и объединяя лучами своих призм все области человеческого естества. Жить в мире, словно это не мир, уважать закон и все же стоять выше его, обладать, «как бы не обладая», отказываться, словно это никакой не отказ, — выполнить все эти излюбленные и часто формулируемые требования высшей житейской мудрости способен один лишь юмор.
67. Тысячи таких возможностей его ждут, его судьба непреодолимо влечет их, все эти аутсайдеры мещанства живут в атмосфере таких магических возможностей.
68. Разделение на волка и человека, на инстинкт и дух, предпринимаемое Гарри для большей понятности его судьбы, — это очень грубое упрощение, это насилие над действительностью ради доходчивого, но неверного объяснения противоречий, обнаруженных в себе этим человеком и кажущихся ему источником его немалых страданий.

69. Если бы Гарри попытался определить степень участия человека и степень участия волка в каждом отдельном моменте его, Гарри, жизни, в каждом его поступке, в каждом его ощущении, то он сразу стал бы в тупик и вся его красивая «волчья» теория полетела бы прахом. Ибо ни один человек, даже первобытный негр, даже идиот, не бывает так приятно прост, чтобы его натуру можно было объяснить как сумму двух или трех основных элементов; а уж объяснять столь разностороннего человека, как Гарри, наивным делением на волка и человека — это и вовсе безнадежно ребяческая попытка. Гарри состоит не из двух натур, а из сотен, из тысяч.
70. Его жизнь (как жизнь каждого человека) вершится не между двумя только полюсами, такими, как инстинкт и Дух или святой и развратник, она вершится между несметными тысячами полярных противоположностей.
71. какой-то миг находит в себе все порывы, задатки, возможности убийцы, — он в следующий же миг обретает цельность, становится снова судьей, уходит в панцирь своего мнимого «я», выполняет свой долг и приговаривает убийцу к смерти.
72. И если в особенно одаренных и тонко организованных человеческих душах забрезжит чувство их многосложности, если они, как всякий гений, прорвутся сквозь иллюзию единства личности, ощутят свою неоднозначность, ощутят себя клубком из множества «я», то стоит лишь им заикнуться об этом, как большинство их запрет, призовет на помощь науку, констатирует шизофрению и защитит человечество от необходимости внимать голосу правды из уст этих несчастных.
73. Однако зачем здесь тратить слова, зачем говорить вещи, которые всем, кто думает, известны и так, но говорить которые не принято? Значит, если кто-то осмеливается расширить мнимое единство своего «я» хотя бы до двойственности, то он уже почти гений, во всяком случае редкое и интересное исключение. В действительности же любое «я», даже самое наивное, — это не единство, а многосложнейший мир, это маленькое звездное небо, хаос форм, ступеней и состояний, наследственности и возможностей. А что каждый в отдельности стремится смотреть на этот хаос как на единство и говорит о своем «я» как о чем-то простом, имеющем твердую форму, четко очерченном, то этот обман, привычный всякому человеку (даже самого высокого полета), есть, по-видимому, такая же необходимость, такое же требование жизни, как дыханье и пища.
74. Обман этот основан на простой метафоре. Тело каждого человека цельно, душа — нет.
75. То-то и оно, что грудь, тело всегда единственны, а душ в них заключено не две, не пять, а несметное число; человек — луковица, состоящая из сотни кожиц, ткань, состоящая из множества нитей.
76. Если мы посмотрим на Степного волка с этой точки зрения, нам станет ясно, почему он так страдает от своей смешной двойственности. Он, как и Фауст, считает, что две души — это для одной-единственной груди уже слишком много и что они должны разорвать грудь. А это, наоборот, слишком мало, и Гарри совершает над своей бедной душой страшное насилие, пытаясь понять ее в таком примитивном изображении. Гарри, хотя он и высокообразованный человек, поступает примерно так же, как дикарь, умеющий считать только до двух. Он называет одну часть себя человеком, а другую волком, и думает, что на том дело кончено и что он исчерпал себя. В «человека» он впихивает все духовное, утонченное или хотя бы культурное, что находит в себе, а в «волка» все импульсивное, дикое и хаотичное. Но в жизни все не так просто, как в наших мыслях, все не так грубо, как в нашем бедном, идиотском языке, и Гарри вдвойне обманывает себя, прибегая к этому дикарскому методу «волка». Гарри, боимся мы, относит уже к «человеку» целые области своей души, которым до человека еще далеко, а к волку такие части своей натуры, которые давно преодолели волка.
77. Ведь человек не есть нечто застывшее и неизменное (таков был, вопреки противоположным догадкам ее мудрецов, идеал античности), а есть скорее некая попытка, некий
78. переход, есть не что иное, как узкий, опасный мостик между природой и Духом.
79. К Духу, к Богу влечет его сокровеннейшее призвание, назад к матери-природе — глубиннейшая тоска; между этими двумя силами колеблется его жизнь в страхе и трепете.

То, что люди в каждый данный момент вкладывают в понятие «человек», есть всегда лишь временная, обывательская договоренность. Эта условность отвергает и осуждает некоторые наиболее грубые инстинкты, требует какой-то сознательности, какого-то благонравия, какого-то преодоления животного начала, она не только допускает, но даже объявляет необходимой небольшую толику духа. «Человек» этой условности есть, как всякий мещанский идеал, компромисс, робкая, наивно-хитрая попытка надуть, с одной стороны, злую праматерь-природу, а с другой — докучливого праотца-Дух и пожить между ними, в индифферентной середке.

80. которого ищет Дух, пойти единственным узким путем к бессмертию — этого он в глубине души все же страшится.
81. к одиночеству Гефсиманского сада.
82. Вероятно, он никогда как следует не наблюдал за настоящим волком — а то бы он, может быть, увидел, что и у животных нет цельной души, что и у них за прекрасной, подтянутой формой тела кроется многообразие стремлений и состояний, что у волка есть свои внутренние бездны, что и волк страдает. Нет, говоря: «Назад, к природе!», человек всегда идет неверным, мучительным и безнадежным путем.
83. Назад вообще нет пути — ни к волку, ни к ребенку. В начале вещей ни невинности, ни простоты нет; все сотворенное, даже самое простое на вид, уже виновно,[36] уже многообразно, оно брошено в грязный поток становления и никогда, никогда уже не сможет поплыть вспять.
84. Путь к невинности, к несотворенному, к Богу ведет не назад, а вперед, не к волку, не к ребенку, а ко все большей вине, ко все более глубокому очеловечению. И самоубийство тебе, бедный Степной волк, тоже всерьез не поможет, тебе не миновать долгого, трудного и тяжкого пути очеловечения, ты еще вынужден будешь всячески умножать свою раздвоенность, всячески усложнять свою сложность. Вместо того чтобы сужать свой мир, упрощать свою душу, тебе придется мучительно расширять, все больше открывать ее миру, а там, глядишь, и принять в нее весь мир, чтобы когда-нибудь, может быть, достигнуть конца и покоя.
85. Всякое рождение означает отделение от вселенной, означает ограничение, обособление от Бога, мучительное становление заново. Возвратиться к вселенной, отказаться от мучительной обособленности, стать Богом — это значит так расширить свою душу, чтобы она снова могла объять вселенную.
86. Степной волк Гарри, на наш взгляд, достаточно гениален, чтобы осмелиться на попытку очеловечения, вместо того чтобы при любой трудности жалобно ссылаться на своего глупого степного волка.
87. здравый смысл
88. Представьте себе сад с сотнями видов деревьев, с тысячами видов цветов, с сотнями видов плодов, с сотнями видов трав. Если садовник этого сада не знает никаких ботанических различий, кроме «съедобно» и «сорняк», то от девяти десятых его сада ему никакого толку не будет, он вырвет самые волшебные цветы, срубит благороднейшие деревья или, по крайней мере, возненавидит их и станет косо на них смотреть.
89. И оба эти портрета вместе, мои тоскливо запинаящиеся стихи и умный этюд неизвестного автора, причиняли мне боль, оба они были верны, оба рисовали без прикрас мое безотрадное бытие, оба ясно показывали невыносимость и неустойчивость моего состояния. Этот Степной волк должен был умереть, должен был собственноручно покончить со своей ненавистной жизнью — или же должен был переплавиться в смертельном огне обновленной самооценки, с
90. Религия, отечество, семья, государство не представляли собой никакой ценности для меня, и мне не было до них дела, от тщеславия науки, искусств, цехов меня тошнило
91. Если в ходе всех моих мучительных перемен я и приобретал что-то незримое и невесомое, то платил я за это дорого, и с каждым разом жизнь моя становилась все более тяжелой, трудной, одинокой, опасной



92. Пусть самоубийство — это глупость, трусость и подлость, пусть это бесславный, позорный выход — любой, даже самый постыдный выход из этой мельницы страданий куда как хорош, тут уж нечего играть в благородство и героизм, тут я стою перед простым выбором между маленькой, короткой болью и невысказанно жестоким, бесконечным страданием. В своей такой трудной, такой сумасшедшей жизни я достаточно часто бывал благородным донкихотом и предпочитал честь — удобству, а героизм — разуму. Хватит, конечно!
93. Все сказанное там о степных волках и о самоубийцах, возможно, и было умно и прекрасно, но это относилось к целой категории, к типу как таковому, было талантливой абстракцией; а меня как личность, суть моей души, мою особую, уникальную, частную судьбу такой грубой сетью, казалось мне, уловить нельзя.
94. Значит, я сумасшедший, значит, очень далек от «всех», если те голоса меня достигли, если те миры со мной заговаривают. Господи, да разве я давно не отдалился от жизни всех, от бытия и мышления нормальных людей, разве я давно не отъединился от них, не сошел с ума? И все же в глубине души я прекрасно понимал это требование сумасшествия, этот призыв отбросить разум, скованность, мещанские условности и отдаться бурному, не знающему законов миру души, миру фантазии.
95. родственные друг другу в душе и в болезни души
96. Надо жить в мире нормального и возможного, чтобы знать что-либо о таких вещах.
97. Боже, как это получилось? Как дошел до этого я, окрыленный юнец, друг муз, любитель странствий по свету, пламенный идеалист?
98. оттого, что я так много говорил и улыбался, у меня заболели щеки, отвыкшие от таких усилий.
99. Он бросился ко мне с большой теплотой, и я, находясь в таком никудышном состоянии, был почти благодарен ему за это.
100. Если эта подлость общечеловечна, ну, что ж, тогда мое презрение к миру могло обрушиться на нее с новой силой; если же это лишь моя личная слабость, то она давала повод к оргии самоуничиженья.
101. Кладбищем был мир нашей культуры, Иисус Христос и Сократ, Моцарт и Гайдн, Данте и Гете были здесь лишь потускневшими именами на ржавеющих жестяных досках, а кругом стояли смущенные и изолгавшиеся поминальщики, которые много бы дали за то, чтобы снова поверить в эти когда-то священные для них жестяные скрижали или сказать хоть какое-то честное, серьезное слово отчаяния и скорби об этом ушедшем мире, а не просто стоять у могилы со смущенной ухмылкой.
102. точно так поступает, живет и действует большинство людей изо дня в день, час за часом, они вынужденно, по существу этого не желая, наносят визиты, ведут беседы, отсиживают служебные часы, всегда поневоле, машинально, нехотя, все это с таким же успехом могло бы делаться машинами или вообще не делаться; и вся эта нескончаемая механика мешает им критически — как я — отнестись к собственной жизни, увидеть и почувствовать ее глупость и мелкость, ее мерзко ухмыляющуюся сомнительность, ее безнадежную тоску и скуку.
103. полной победой степного волка.
104. Все явственнее вставала передо мной эта картина, и все явственнее, с бешено колотящимся сердцем, чувствовал я самый большой страх на свете — страх смерти!
105. Я не видел способа уйти от того, что меня страшило. Даже если сегодня в борьбе отчаяния с трусостью победит трусость, то все равно завтра и каждодневно передо мной снова будет стоять отчаянье, да еще усугубленное моим презрением к себе. Так я и буду опять хвататься за бритву и опять отбрасывать ее, пока наконец не свершится. Уж лучше сегодня же!
106. Они находят ее чудесной, и по мне — пускай, это их дело, но у меня уже нет никакого доверия к этим людям, никакой дружбы с ними, никакого чувства родства и общности. Впрочем, дружба и так-то была не Бог весть какая. И тут я разозлился, загрустил, увидел, что я совсем один и никто меня не понимает. Вам это ясно?
107. Вы десятилетиями делали вид, будто накопление знаний, коллекций, писание и собирание писем, будто весь ваш веймарский стариковский быт — это действительно способ увековечить мгновение, — а ведь вы его только мумифицировали, — действительно способ

- одухотворить природу, — а ведь вы ее только стилизовали, только гримировали. Это и есть неискренность, в которой мы вас упрекаем.
108. великолепия мгновения и его жалкое увядание, невозможность оплатить прекрасную высоту чувства иначе, чем тюрьмой обыденности, жгучую тоску по царству духа, которая вечно и на смерть борется со столь же жгучей и столь же священной любовью к потерянной невинности природы
109. Что я дожил до восьмидесяти двух лет, может быть, и непростительно. Но удовольствия это доставило мне меньше, чем вы думаете. Вы правы: долговечности я всегда сильно желал, смерти всегда боялся и с ней боролся. Я думаю, что борьба против смерти, безусловная и упрямая воля к жизни есть та первопричина, которая побуждала действовать и жить всех выдающихся людей. Но что в конце концов приходится умирать, это, мой юный друг, я в свои восемьдесят два года доказал так же убедительно, как если бы умер школьником. В свое оправдание, если это может служить им, скажу еще вот что: в моей природе было много ребяческого, много любопытства, много готовности играть и разбазаривать время. Потому мне и понадобилось довольно много времени, чтобы понять, что играть-то уж хватит.
110. Мальчик мой, ты принимаешь старого Гете слишком всерьез. Старых людей, которые уже умерли, не надо принимать всерьез, а то обойдешься с ними несправедливо. Мы, бессмертные, не любим, когда к чему-то относятся серьезно, мы любим шутку. Серьезность, мальчик мой, это атрибут времени; она возникает, открою тебе, от переоценки времени. Я тоже когда-то слишком высоко ценил время, поэтому я хотел дожить до ста лет. А в вечности, видишь ли, времени нет; вечность — это всего-навсего мгновение, которого как раз и хватает на шутку.
111. Я говорю тебе это не для того, чтобы оправдать твою досаду и злость на тот портретик, нет, тут ты не прав, говорю я это, только чтобы показать тебе, что способна тебя понять.
112. Вот какую машину смастерил в свои свободные вечера этот прилежный молодой человек, увлеченный идеей беспроволочности и благоговеющий перед богом техники, которому понадобились тысячи лет, чтобы открыть и весьма несовершенно представить то, что всегда знал и чем умнее пользовался каждый мыслитель.
113. Мы поговорили об этом, ибо тетюшка немного склонна к набожности и не прочь побеседовать на религиозные темы. Я сказал ей, что вездесущность всех сил и действий была отлично известна древним индийцам, а техника довела до всеобщего сознания лишь малую часть этого феномена, сконструировав для него, то есть для звуковых волн, пока еще чудовищно несовершенные приемник и передатчик. Самая же суть этого старого знания, нереальность времени, до сих пор еще не замечена техникой, но, конечно, в конце концов она тоже будет «открыта» и попадет в руки деятельным инженерам.
114. Откроют, и может быть, очень скоро, что нас постоянно окружают не только теперешние, сиюминутные картины и события, — подобно тому как музыка из Парижа и Берлина слышна теперь во Франкфурте или в Цюрихе, — но что все когда-либо случившееся точно так же регистрируется и наличествует и что в один прекрасный день мы, наверно, услышим, с помощью или без помощи проволоки, со звуковыми помехами или без оных, как говорят царь Соломон и Вальтер фон дер Фогельвайде.
115. И все это, как сегодня зачатки радио, будет служить людям лишь для того, чтобы убегать от себя и от своей цели, спутываясь все более густой сетью развлечений и бесполезной занятости.
116. Стоило лишь мне представить себе, что она нарушит или забудет наш уговор, и я уже ясно видел, каково мне будет тогда: мир снова станет пустым, потекут серые, никчемные дни, опять вернется весь этот ужас тишины и омертвения вокруг меня, и единственный выход из этого безмолвного ада — бритва.
117. Но нужны были не знанье, не пониманье, — не их я так отчаянно жаждал, — а впечатления, решение, толчок и прыжок.
118. ты в отчаянье и нуждаешься в толчке, который метнет тебя в воду и сделает снова живым.
119. Тебе будет нелегко, но ты это сделаешь. Ты выполнишь мой приказ и убьешь меня. Вот в чем дело. Больше не спрашивай!

120. — Животные большей частью бывают грустные, — продолжала она. — И когда человек очень грустен, грустен не потому, что у него болят зубы или он потерял деньги, а потому, что он вдруг чувствует, каково все, какова вся жизнь, и грусть его настоящая, — тогда он всегда немножко похож на животное, тогда он выглядит грустно, но в нем больше настоящего и красивого, чем обычно. Так уж ведется, и когда я впервые увидела тебя, Степной волк, ты выглядел так.
121. Никто, как известно, не пишет хуже, чем защитники стареющей идеологии, никто не проявляет меньше опрятности и добросовестности в своем ремесле, чем они.
122. Подумать часок, на какое-то время погрузиться в себя и задаться вопросом, в какой мере ты сам участвуешь и виновен в беспорядке и зле, царящих в мире, — этого, понимаешь, никто не хочет! И значит, так будет продолжаться, и тысячи людей будут изо дня в день усердно готовить новую войну.
123. Бороться со смертью, милый Гарри, — это всегда прекрасное, благородное, чудесное и достойное дело, а значит, бороться с войной — тоже. Но и это всегда — безнадежное донкихотство. — Так оно, может быть, и есть, — воскликнул я резко, — но от таких истин, как та, что мы все скоро умрем и, значит, мол, на все наплевать, вся жизнь делается пошлой и глупой. По-твоему, значит, нам надо все бросить, отказаться от всякой духовности, от всяких стремлений, от всякой человечности, смириться с произволом честолюбия и денег и дожидаться за кружкой пива следующей мобилизации?
124. Да нет же, — сказала она совсем по-матерински. — Твоя жизнь не станет пошлой и глупой, даже если ты и знаешь, что твоя борьба успеха не принесет. Гораздо пошлее, Гарри, бороться за какое-то доброе дело, за какой-то идеал и думать, что ты обязан достигнуть его. Разве идеалы существуют для того, чтобы их достигали? Разве мы, люди, живем для того, чтобы отменить смерть? Нет, мы живем, чтобы бояться ее, а потом снова любить, и как раз благодаря ей жизнь так чудесно пылает в иные часы. Ты ребенок, Гарри.
125. Ты думаешь? А завтра, может быть, мы увидели бы в другой витрине такую же точно машину, только на двадцать франков дешевле. И кроме того, делать покупки — это удовольствие, а что доставляет удовольствие, тем надо насладиться сполна. Тебе еще многому нужно учиться.
126. В тот вечер я сидел дома, хотел почитать, но не смог. Я боялся завтрашнего дня; ужасно было подумать, что я, старый, робкий, застенчивый нелюдим, не только появлюсь в одном из этих пошлых современных заведений, где пьют чай и танцуют, но и выступлю среди чужих людей в роли танцора, ничего еще не умея. И признаюсь, я смеялся над самим собой и стыдился самого себя, когда один, в тихом своем кабинете, завел граммофон и тихонько, на цыпочках, прорепетировал свои фокстротные па.
127. А высмею ли я тебя, тебе, конечно, безразлично. Какой же ты трус! Каждый, кто приближается к девушке, рискует быть высмеянным, тут уж ничего не поделаешь. Так что рискни, Гарри, и в худшем случае тебя высмеют, — а не то я перестану верить в твое послушание.
128. Его темные, красивые креольские глаза, его черные кудри не таили никакой романтики, никаких проблем, никаких мыслей — с близкого расстояния этот экзотический красавец-полубог был веселым, несколько избалованным мальчишкой, только и всего.
129. забыть и отдаться
130. Потому что я такая же, как ты. Потому что я так же одинока, как ты, и точно так же, как ты, неспособна любить и принимать всерьез жизнь, людей и себя самое. Ведь всегда находятся такие люди, которые требуют от жизни самого высшего и не могут примириться с ее глупостью и грубостью.
131. Я не отчаиваюсь, Гарри. Но страдать от жизни — о да, в этом у меня есть опыт. Ты удивляешься, что я несчастлива, ведь я же умею танцевать и так хорошо ориентируюсь на поверхности жизни. А я, друг мой, удивляюсь, что ты так разочарован в жизни, ведь ты-то разбираешься в самых прекрасных и глубоких вещах, ведь ты же как дома в царстве Духа, искусства, мысли! Поэтому мы привлекли друг друга, поэтому мы брат и сестра. Я научу

- тебя танцевать, играть, улыбаться и все же не быть довольным. А от тебя научусь думать и знать и все же не быть довольной. Знаешь ли ты, что мы оба дети дьявола?
132. Дьявол — это дух, и мы его несчастные дети. Мы выпали из природы и висим в пустоте. Но в мою так четко очерченную, так строго замкнутую доселе жизнь отовсюду врывается что-то новое, страшное и сумбурное. Трактат о Степном волке и Гермина были правы в своем учении о тысяче душ, наряду со всеми прежними во мне ежедневно обнаруживались какие-то новые души, они ставили требования, поднимали шум, и я четко, как на картине, увидел в каком самообмане пребывал до сих пор. Придавая значение лишь тем считанным своим способностям и навыкам, в которых случайно оказался силен, я нарисовал портрет Гарри и жил жизнью Гарри, который был всего-навсего очень тонким специалистом по части поэзии, музыки и философии, а все остальное в своей личности, весь прочий хаос своих способностей, инстинктов, устремлений воспринимал как обузу и окрестил Степным волком.
133. Поистине адски звучал порой граммофон в этом окружение, где все было настроено на совсем другие тона. И подчас, отплясывая уанстепы в каком-нибудь модном ресторане, среди всех этих элегантных бонвиванов и авантюристов, я казался себе изменником, предавшим все, что было у меня в жизни святого и дорогого. Оставь меня Гермина хоть на неделю в одиночестве, я незамедлительно пустился бы наутек от этих смешных потуг на бонвиванство.
134. Ловко строя из себя презирающего мир идеалиста, грустного отшельника и негодующего пророка, Гарри Галлер был, в сущности, буржуа, находил жизнь, которую вела Гермина, предосудительной, сокрушался о ночах, растраченных в ресторанах, о просаженных там талерах, испытывал угрызения совести и отнюдь не рвался к своему освобождению и совершенству, а наоборот, всячески рвался назад, в те удобные времена, когда его духовное баловство еще доставляло ему удовольствие и приносило славу.
135. мещанский страх перед всем беспорядочным и случайным (к чему принадлежала и смерть)
136. Пабло запомнился мне смазливим ничтожеством, немного тщеславным красавчиком, веселым и бездумным ребенком, который с радостью дудит в свою дудку и которого легко подкупить похвалой или шоколадкой.
137. Видите ли, по-моему, вовсе не стоит говорить о музыке. Я никогда не говорю о музыке. Да и что мог бы я вам ответить на ваши очень умные и верные слова? Ведь вы же были совершенно правы во всем, что вы говорили. Но, видите ли, я музыкант, а не ученый, и я не думаю, что в музыке правота чего-то стоит. Ведь в музыке важно не то, что ты прав, что у тебя есть вкус, и образование, и все такое прочее.— Ну да. Но что же важно?— Важно играть, господин Галлер, играть как можно лучше, как можно больше и как можно сильнее! Вот в чем штука, мосье. Если я держу в голове все произведения Баха и Гайдна и могу сказать о них самые умные вещи, то от этого нет еще никому никакой пользы. А если я возьму свою трубу и сыграю модное шимми, то это шимми, хорошее ли, плохое ли, все равно доставит людям радость, ударит им в ноги и в кровь. Только это и важно. Взгляните
138. — Согласен, — сказал я холодно. — И все-таки нельзя ставить на одну ступень Моцарта и новейший фокстрот. И не одно и то же — играть людям божественную и вечную музыку или дешевые однодневки.
139. — Ах, дорогой мой, насчет ступеней вы, наверно, целиком правы. Я решительно ничего не имею против того, чтобы вы ставили и М
140. Моцарта, и Гайдна, и «Валенсию» на какие вам угодно ступени! Мне это совершенно безразлично, определять ступени — не мое дело, меня об этом не спрашивают. Моцарта, возможно, будут играть и через сто лет, а «Валенсию» не будут — это, я думаю, мы можем спокойно предоставить Господу Богу, Он справедлив и ведает сроками, которые суждено прожить нам всем, а также каждому вальсу и каждому фокстроту, Он наверняка поступит правильно. Мы же, музыканты, должны делать свое дело, выполнять свои обязанности и задачи: мы должны играть то, чего как раз в данный момент хочется людям, и играть мы это должны как только можно лучше, красивей и энергичней.
141. и Гайдна, и «Валенсию» на какие вам угодно ступени! Мне это совершенно безразлично, определять ступени — не мое дело, меня об этом не спрашивают. Моцарта, возможно, будут

играть и через сто лет, а «Валенсию» не будут — это, я думаю, мы можем спокойно предоставить Господу Богу, Он справедлив и ведаёт сроками, которые суждено прожить нам всем, а также каждому вальсу и каждому фокстроту, Он наверняка поступит правильно. Мы же, музыканты, должны делать свое дело, выполнять свои обязанности и задачи: мы должны играть то, чего как раз в данный момент хочется людям, и играть мы это должны как только можно лучше, красивей и энергичней.

142. В немецкой душе царит материнское право, связь с природой в форме гегемонии музыки, неведомая ни одному другому народу. Вместо того чтобы по-мужски восстать против этого, прислушаться к интеллекту, к логосу, к слову, мы, люди интеллигентные, все сплошь мечтаем о языке без слов, способном выразить невыразимое, высказать то, чего нельзя высказать.
143. Мы, люди интеллигентные, все сплошь не знали действительности, были чужды ей и враждебны, а потому и в нашей немецкой действительности, в нашей истории, в нашей политике, в нашем общественном мнении роль интеллекта была такой жалкой.
144. Правы были господа генералы и промышленники: от нас, «интеллигентов», не было толку, мы были ненужной, оторванной от действительности, безответственной компанией остроумных болтунов. Тьфу, пропасть! Бритву!
145. лучше бы она тогда дала мне погибнуть, чем толкать, чем сталкивать меня в этот сумбурный, чужой, суматошный, игрушечный мир, где я все равно всегда буду чужим и где все лучшее во мне зачахнет и сгинет.
146. Все эти девушки, обычно из бедноты, слишком умные и слишком красивые, чтобы отдавать всю свою жизнь только какой-нибудь плохо оплачиваемой и безрадостной службе ради куска хлеба, жили то на случайные заработки, то на капитал своей привлекательности и приятности.
147. Они любили бокал шампанского или какое-нибудь фирменное жаркое, как мы любим какого-нибудь композитора или поэта, и какой-нибудь модной танцевальной мелодии или сентиментально-слащавой песенке они отдавали такую же дань восторга, волнения и растроганности, какую мы — Ницше или Гамсуну.
148. Я готов был восторгаться вместе с ней, каков бы этот сонг ни был; дышавшие любовью слова Марии, ее страстно загоравшийся взгляд пробрили в моей эстетике широкие бреши.
149. Оставалось, конечно, прекрасное, то немногое непревзойденно прекрасное, что не подлежало, по-моему, итожим сомнениям и спорам, прежде всего Моцарт, но где тут была граница? Разве все мы, знатоки и критики, не обожали в юности произведения искусства и художников, которые сегодня кажутся нам сомнительными и неприятными?
150. Жизнь моя была трудной, сбивчивой и несчастливой, она привела к отречению и отрицанию, она была горькой от соли, примешанной ко всем человеческим судьбам, но она была богатой, богатой и гордой, она была и в беде царской жизнью. Как ни убого растрачивается остаток пути до окончательной гибели, ядро этой жизни было благородно, в ней были недюжинность и накал, в ней дело шло не о жалких грошах, а о звездах.
151. Моя душа снова вздохнула, мои глаза опять стали видеть, и минутами меня бросало в жар от догадки, что стоит лишь мне собрать разбросанные образы, стоит лишь поднять до образа всю свою гарри-галлеровскую волчью жизнь целиком, как я сам войду в сонм образов и стану бессмертным. Разве не к этой цели стремилась жизнь каждого человека, разве не была она разбегом к ней, попыткой достигнуть ее?
152. У Марии не было никакого образования, она не нуждалась в этих окольных дорогах и мирах-заменителях, все ее проблемы выростали непосредственно из чувств. Добиться как можно большего чувственного и любовного счастья отпущенными ей чувствами, своей особенной фигурой, своими красками, своими волосами, своим голосом, своей кожей, своим темпераментом, найти, выколдовать у любящего отзыв, понимание, несущую счастье ответную игру для каждой своей прелести, для каждого изгиба своих линий, для каждой извилинки своего тела — вот в чем состояли ее искусство, ее задача. Уже во время того первого робкого танца с ней я ощутил это, уже тогда почувствовал я этот аромат гениальной, восхитительно изощренной чувственности и был околдован им.

153. Прежде всего я узнал, что все эти безделушки, все эти модные предметы роскоши — вовсе не чепуха, вовсе не выдумка корыстных фабрикантов и торговцев, а полноправный, прекрасный, разнообразный маленький или, вернее, большой мир вещей, имеющих одну-единственную цель — служить любви, обострять чувства, оживлять мертвую окружающую среду, волшебным образом наделяя ее новыми органами любви — от пудры и духов до бальной туфельки, от перстня до портсигара, от пряжки для пояса до сумки.
154. Но понять, друг мой, как я тебя понимаю, ни Мария, ни еще какая-нибудь другая никогда не поймет.
155. Новые, не прямые, сложные отношения и связи всплыли передо мной, новые возможности любить и жить, и я думал о тысяче душ трактата о Степном волке.
156. — Я хочу большего. Я не доволен тем, что я счастлив, я для этого не создан, это не мое призвание. Мое призвание в противоположном.
157. — Потому что иначе у меня не было бы этого страха перед смертью, которой я ведь желал! Несчастье, которое мне нужно и о котором я тоскую другого рода. Оно таково, что позволяет мне страдать с жадностью и умереть с наслаждением. Вот какого несчастья или счастья я жду.
158. — По-моему, да! Я очень доволен своим счастьем, я способен еще долго его выносить. Но когда мое счастье оставляет мне час-другой, чтобы очнуться и затосковать, вся моя тоска направлена не на то, чтобы навсегда удержать это счастье, а на то, чтобы снова страдать, только прекраснее и менее жалко, чем прежде. Я тоскую о страданиях, которые дали бы мне готовность умереть.
159. — У тебя было какое-то представление о жизни, была какая-то вера, какая-то задача, ты был готов к подвигам, страданиям и жертвам — а потом ты постепенно увидел, что мир не требует от тебя никаких подвигов, жертв и всякого такого, что жизнь — это не величественная поэма с героическими ролями и всяким таким, а мещанская комната, где вполне довольствуются едой и питьем, кофе и вязаньем чулка, игрой в тарок и радиомузыкой. А кому нужно и кто носит в себе другое, нечто героическое и прекрасное, почтенье к великим поэтам или почтенье к святым, тот дурак и донкихот. Вот так.
160. Одно время я была безутешна и долго искала вину в самой себе. Ведь жизнь, думала я, в общем-то всегда права, и если жизнь посмеялась над моими мечтаниями, значит, думала я, мои мечты были глупы, неправы. Но это не помогало. А поскольку у меня были хорошие глаза и уши, да и некоторое любопытство тоже, я стала присматриваться к так называемой жизни, к своим знакомым и соседям, к более чем пятидесятикам людей и судеб, и тут я увидела, Гарри: мои мечты были правы, тысячу раз правы, так же как и твои. А жизнь, а действительность была неправа. Если такой женщине, как я, оставалось либо убого и бессмысленно стареть за пишущей машинкой на службе у какого-нибудь добытчика денег, или ради его денег выйти за него замуж, либо стать чем-то вроде проститутки, то это было так же неправильно, как и то, что такой человек, как ты, должен в одиночестве, в робости, в отчаянье хвататься за бритву.
161. Ты слишком требователен и голоден для этого простого, ленивого, непритязательного сегодняшнего мира, он отбросит тебя, у тебя на одно измерение больше, чем ему нужно. Кто хочет сегодня жить и радоваться жизни, тому нельзя быть таким человеком, как ты и я. Кто требует вместо пиликания — музыки, вместо удовольствия — радости, вместо баловства — настоящей страсти, для того этот славный наш мир — не родина...
162. Всегда так было и всегда так будет, что время и мир, деньги и власть принадлежат мелким и плоским, а другим, действительно людям, ничего не принадлежит.
163. — Всегда так, как сегодня? Всегда мир только для политиков, спекулянтов, лакеев и кутил, а людям нечем дышать?
164. — Нет, еще вечность.
165. — Ну, вот, значит, не славу! Слава существует лишь так, для образования, это забота школьных учителей. Не славу, о нет! А то, что я называю вечностью. Верующие называют это Царством Божьим. Мне думается, мы, люди, мы все, более требовательные, знающие тоску, наделенные одним лишним измерением, мы и вовсе не могли бы жить, если бы, кроме

воздуха этого мира, не было для дыхания еще и другого воздуха, если бы, кроме времени, не существовало еще и вечности, а она-то и есть царство истинного. В нее входят музыка Моцарта и стихи твоих великих поэтов, в нее входят святые, творившие чудеса, претерпевшие мученическую смерть и давшие людям великий пример. Но точно так же входит в вечность образ каждого, настоящего подвига, сила каждого настоящего чувства, даже если никто не знает о них, не видит их, не запишет и не сохранит для потомства. В вечности нет потомства, а есть только современники.

166. Есть много святых, которые сначала были закоренелыми грешниками, грех тоже может быть путем к святости, грех и порок. Ты будешь смеяться, но я часто думаю, что, может быть, и мой друг Пабло — скрытый святой.
167. Лик святых — в прежние времена художники изображали его на золотом небосводе, лучезарном, прекрасном, исполненном мира, — он и есть то, что я раньше назвала «вечностью». Это царство по ту сторону времени и видимости. Там наше место, там наша родина, туда, Степной волк, устремляется наше сердце, и потому мы тоскуем по смерти. Там ты снова найдешь своего Гете, и своего Новалиса, и Моцарта, а я своих святых, Христофора, Филиппе Нери![61] — всех.
168. Теперь только понял я его смех, смех бессмертных.[63] Он был беспредметен, этот смех, он был только светом, только прозрачностью, он был тем, что остается в итоге, когда подлинный человек, пройдя через людские страдания, пороки, ошибки, страсти и недоразумения, прорывается в вечность, в мировое пространство. А «вечность» была не чем иным, как избавлением времени, неким возвратом его к невинности, неким обратным превращением его в пространство.
169. Да, именно так, эта музыка была чем-то вроде застывшего, превратившегося в пространство времени, и над ней бесконечно парили сверхчеловеческая ясность, вечный, божественный смех. О, да ведь и старик Гете из моего сновиденья был здесь вполне уместен! И вдруг я услышал вокруг себя этот непостижимый смех, услышал, как смеются бессмертные.
170. Холодом сплошным объята мы, Холоден и звонок смех наш вечный.
171. а в прежней моей жизни это состояние было знакомо мне лишь как редкое исключение, ибо к чувственной жизни и к полу почти всегда примешивался для меня горький привкус вины, сладкий, но жутковатый вкус запретного плода, которого человек духовный должен остерегаться. Теперь Германа и Мария показали мне этот Эдем в его невинности, я благодарно погостил в нем — но мне приспела пора идти дальше, слишком красиво и тепло было в этом Эдеме. Опять домогаться венца жизни, опять искупать бесконечную вину жизни — такой был мой жребий. Легкая жизнь, легкая любовь, легкая смерть — это не для меня.
172. Но сегодня вечером меня как-то само собой потянуло туда; при том тоскливо-радостном ощущении судьбы и прощания, в котором я сейчас пребывал, все вехи и памятные места моей жизни озарились еще раз мучительно прекрасным отблеском прошлого
173. «Современный» человек называет это сентиментальностью; он перестает любить вещи, вещи, даже самые священные для него некогда, даже свой автомобиль, который надеется при первой возможности поменять на новый, лучшей марки. Этот современный человек энергичен, деловит, здоров, холоден и молодцеват — тип хоть куда, он еще покажет себя в следующей войне.
174. Я ничего не имел против сентиментальностей, я был благодарно рад, что в моем сгоревшем сердце теплилось хоть какое-то подобие чувств. И я отдался воспоминаниям, навеянным этим старым кабаком, своей привязанности к этим старым грубым стульям, отдался запаху дыма и вина, тому дуновению привычки, тепла, сходства с родиной, которое я во всем этом ощущал. Прощание — прекрасная вещь, оно размягчает.
175. Мне было невероятно странно видеть все это воочию, глядеть, как священные истории, с их героями и чудесами, осенившие некогда наше детство первым смутным представлением о другом мире, о чем-то сверхчеловеческом, разыгрываются здесь за плату перед благородной публикой, которая тихонько жует принесенные с собой булочки, — в этой маленькой картинке видна была вся бросовость, вся обесцененность культуры в нашу эпоху. Господи,

- пускай бы уж, чтобы только предотвратить это свинство, погибли тогда, кроме египтян, и евреи, и все другие люди на свете, погибли насильственной и пристойной смертью, а не этой ужасной, мнимой и половинчатой, которой умираем сегодня мы. Право, пускай бы!
176. Ничего не получалось, я был здесь не на месте. Ведь пришел-то я сюда с самыми лучшими намереньями, но развеселиться я здесь не мог, и эта громкая бурная радость, этот смех, все это буйство казались мне глупыми и вымученными.
177. Одно ощущение, неведомое мне дотоле за все мои пятьдесят лет, хотя оно знакомо любой девчонке, любому студенту, выпало на мою долю в эту бальную ночь — ощущение праздника, упоенности общим весельем, проникновения в тайну гибели личности в массе, unio mystica[67] радости. Я часто слышал рассказы об этом — это знала любая служанка, — часто видел, как загорались глаза у тех, кто рассказывал, а сам только полунадменно-полузавистливо посмеивался.
178. И мужчины тоже входили сюда, я был и в них, они тоже не были мне чужими, их улыбки были моими улыбками, их домогательства исходили от меня, а мои — от них.
179. Ах, думал я, будь что будет, хоть раз да был счастлив, хоть раз да сиял и я, хоть раз да освободился от самого себя, был братом Пабло, ребенком.
180. Тут появился в дверях этот музыкант Пабло и осветил нас своими веселыми глазами, которые были, в сущности, глазами животного, но у животных глаза всегда серьезны, а его глаза всегда смеялись, и смех-то и делал их человеческими.
181. Вы стремились уйти отсюда, не так ли? Вы мечтаете о том, чтобы покинуть это время, этот мир, эту действительность и войти в другую, более соответствующую вам действительность, в мир без времени.
182. Сделайте это, дорогой друг, я приглашаю вас это сделать. Вы ведь знаете, где таится этот другой мир и что мир, который вы ищете, есть мир вашей собственной души.
183. Лишь в собственном вашем сердце живет та, другая действительность, по которой вы тоскуете. Я могу вам дать только то, что вы уже носите в себе сами, я не могу открыть вам другого картинного зала, кроме картинного зала вашей души. Я не могу вам дать ничего, разве лишь удобный случай, толчок, ключ.
184. Вы, несомненно, давно догадались, что преодоление времени, освобождение от действительности и как бы там еще ни именовали вы вашу тоску, означают не что иное, как желание избавиться от своей так называемой личности. Она — тюрьма, в которой вы сидите. И войдите вы в театр таким, как вы есть, вы увидели бы все глазами Гарри, сквозь старые очки Степного волка. Поэтому вас приглашают избавиться от этих очков и соблагovolить сдать эту высокоуважаемую личность в здешний гардероб, где она будет к вашим услугам в любое время.
185. Ну, а всякий высокий юмор начинается с того, что перестаешь принимать всерьез собственную персону.
186. — Погодите, — вежливо сказал Густав. — Понятия о долге у меня правда нет, уже нет. Прежде мне по обязанности приходилось много заниматься этим понятием, я был профессором богословия. Кроме того, я был солдатом и участвовал в войне. В том, что мне казалось долгом и что мне приказывало начальство, ничего хорошего не было, я всегда предпочитал бы делать прямо противоположное. Но если у меня и нет понятия о долге, то зато у меня есть понятие о вине — а это, может быть, одно и то же. Поскольку я рожден матерью, я виновен, я осужден жить, обязан быть подданным какого-то государства, быть солдатом, убивать, платить налоги для гонки вооружений. И сейчас вот, сию минуту, вина жизни снова, как когда-то во время войны, привела меня к необходимости убивать. Но на этот раз я убиваю без отвращения, я смирился со своей виной, я ничего не имею против того, чтобы этот глупый, закупоренный мир рухнул, я рад помочь этому и с радостью погибну сам.
187. То-то и оно, слишком много людей на свете. Раньше это не было так заметно. А теперь, когда каждый хочет не только дышать воздухом, но и иметь автомобиль, теперь это заметно. Конечно, то, что мы сейчас делаем, неразумно, это ребячество, да и война была огромным ребячеством. Со временем человечество волей-неволей научится ограничивать свое размножение разумными средствами. Пока мы реагируем на невыносимое положение



довольно-таки неразумно, но делаем, по существу, то, что нужно, — уменьшаем в количестве.

188. Да, — сказал я, — то, что мы делаем, наверно, безумно, и все же, наверно, это хорошо и необходимо. Нехорошо, когда человечество перенапрягает разум и пытается с помощью разума привести в порядок вещи, которые разуму еще совсем недоступны. Тогда возникают разные идеалы... они чрезвычайно разумны, и все же они страшно насилуют и обируют жизнь, потому что очень уж наивно упрощают ее. Образ человека, некогда высокий идеал, грозит превратиться в стереотип. Мы, сумасшедшие, может быть, снова облагородим его.
189. а их философией не уложишь, нужны как-никак пули в стволе.
190. Но говорят, что даже генералы испытывали порой на войне подобное чувство.
191. — Фигур, на которые, как вы видели, распалась ваша так называемая личность. Ведь без фигур я не могу играть.
192. Я никто, — объяснил он приветливо. — У нас здесь нет имен, мы здесь не личности. Я шахматист. Желаете взять урок построения личности?
193. Вам известно ошибочное и злосчастное представленье, будто человек есть некое постоянное единство. Вам известно также, что человек состоит из множества душ, из великого множества «я». Расщепление кажущегося единства личности на это множество фигур считается сумасшествием, наука придумала для этого название — шизофрения. Наука права тут постольку, поскольку ни с каким множеством нельзя совладать без руководства, без известного упорядоченья, известной группировки. Не права же она в том, что полагает, будто возможен лишь один, раз навсегда данный, непреложный, пожизненный порядок множества подвидов «я».
194. ственной службе учителям и воспитателям их работу и избавляет их от необходимости думать и экспериментировать. Вследствие этого заблужденья «нормальными», даже социально высокосортными, считаются часто люди неизлечимо сумасшедшие, а как на сумасшедших, смотрят, наоборот, на иных гениев. Поэтому несовершенную научную психологию мы дополняем понятием, которое называем искусством построения. Тому, кто извещал распад своего «я», мы показываем, что куски его он всегда может в любом порядке составить заново и добиться тем самым бесконечного разнообразия в игре жизни. Как писатель создает драму из горстки фигур, так и мы строим из фигур нашего расщепленного «я» все новые группы с новыми играми и напряжениями, с вечно новыми ситуациями. Смотрите!
195. Тихими, умными пальцами он взял мои фигуры, всех этих стариков, юношей, детей, женщин, все эти веселые и грустные, сильные и нежные, ловкие и неуклюжие фигуры, и быстро расставил из них на своей доске партию, где они тотчас построились в группы и семьи для игр и борьбы, для дружбы и вражды, образуя мир в миниатюре. Перед моими восхищенными глазами он заставил этот живой, но упорядоченный маленький мир двигаться, играть и бороться, заключать союзы и вести сраженья, осаждать любовью, вступать в браки и размножаться; это была и правда многоперсонажная, бурная и увлекательная драма. Затем он весело провел рукой по доске, осторожно опрокинул фигуры, сгреб их в кучу и задумчиво, как разборчивый художник, построил из тех же фигур совершенно новую партию, с совершенно другими группами, связями и сплетеньями. Вторая партия была родственна первой: это был тот же мир, и построена она была из того же материала, но переменилась тональность, изменился темп, переместились акценты мотивов, ситуации приобрели иной вид.
196. — Это и есть искусство жить, — говорил он поучающе. — Вы сами вольны впредь на все лады развивать и оживлять, усложнять и обогащать игру своей жизни, это в ваших руках. Так же как сумасшествие, в высшем смысле, есть начало всяческой мудрости, так и шизофрения есть начало всякого искусства, всякой фантазии. Даже ученые это уже наполовину признали, о чем можно прочесть, например, в «Волшебном роге принца», [76] очаровательной книжке, где кропотливый и прилежный труд ученого облагораживается гениальным сотрудничеством нескольких сумасшедших художников, засаженных в психиатрические лечебницы. Возьмите с собой ваши фигурки, эта игра еще не раз доставит вам радость. Фигуру, которая сегодня

выросла в несносное пугало и портит вам партию, вы завтра понизите в чине, и она станет безобидной второстепенной фигурой. А из милой, бедной фигурки, обреченной, казалось уже, на сплошные неудачи и невезенье, вы сделаете в следующей партии принцессу. Желаю вам хорошо повеселиться, сударь.

197. Мука мученическая была глядеть, до какой фантастической степени научился этот волк отрекаться от своей природы
198. Как еще глуп и наивен был я в ту пору, когда меня, человеколюбивого противника войны, ужасали эти картинки. Сегодня я знал, что ни один укротитель, ни один министр, ни один генерал, ни один безумец не способен додуматься ни до каких мыслей и картин, которые не жили бы во мне самом, такие же гнусные, дикие и злые.
199. Я понял, что я был теперь тем славным, пылким юнцом, который так рьяно устремился тогда к вратам любви, понял, что теперь я проявлял и взращивал эту часть себя, эту лишь на десятую, на тысячную долю сбывшуюся часть своего естества, что теперь меня
200. не отягощали все прочие ипостаси моего «я», не перебивал мыслитель, не мучил Степной волк, не урезал поэт, фантаст, моралист. Нет, теперь я не был никем, кроме как любящим, не дышал никаким счастьем и никаким страданьем, кроме счастья и страданья любви.
201. Последним персонажем в моей тысячеликой мифологии, последним именем в бесконечном ряду возникла она, Гермина, и тут же ко мне вернулось сознание и положило конец сказке любви, ибо с Герминой мне не хотелось встречаться здесь, в сумраке волшебного зеркала, ей принадлежала не только одна та фигура моих шахмат, ей принадлежал Гарри весь. О, теперь следовало перестроить свои фигуры так, чтобы все завертелось вокруг нее и свершилось.
202. — Но они же оба в этом не виноваты!— Конечно, нет. Не виноваты они и в том, что Адам съел яблоко, а платить за это должны.— Но это ужасно.— Конечно. Жизнь всегда ужасна. Мы не виноваты, и все-таки мы в ответе. Родился — и уже виноват. Странно же вас учили закону Божьему, если вы этого не знали.
203. Боже мой! А ведь, кроме того, были еще Адам, и яблоко, и весь остальной первородный грех. Все это, значит, надо искупить, пройти через бесконечное чистилище, и лишь потом встанет вопрос, есть ли за всем этим еще что-то личное, что-то собственное, или же все мои усилия и их последствия были лишь пустой пеной на море, лишь бессмысленной игрой в потоке событий.
204. Все, что ты кропал, ненастоящее, все-то ведь чужое, завалившее.
205. Даже человек умеренно одаренный созревает, пробежав через несколько столетий.
206. Я остался наедине с полузакрытой покойницей, которую любил и которой завидовал.
207. Заметьте, как этот сумасшедший рупор делает, казалось бы, глупейшую, бесполезнейшую и запретнейшую на свете вещь, как он глупо, грубо и наобум швыряет исполняемую где-то музыку, к тому же уродуя ее, в самые чуждые ей, в самые неподходящие для нее места — как он все-таки не может убить изначальный дух этой музыки, как демонстрирует на ней лишь беспомощность собственной техники, лишь собственное бездуховное делячество!
208. А ведь теперь вы слышите не только изнасилованного радиоприемником Генделя, который и в этом мерзейшем виде еще божествен, — вы слышите и видите, уважаемый, заодно и превосходный символ жизни вообще. Слушая радио, вы слышите и видите извечную борьбу между идеей и ее проявлением, между вечностью и временем, между Божественным и человеческим.
209. Такова, мой маленький, вся жизнь, и мы тут ничего не можем поделать, и если мы не ослы, то мы смеемся по этому поводу.
210. неаппетитную
211. Таким людям, как вы, совсем не к лицу критиковать радио или жизнь. Лучше научитесь сначала слушать! Научитесь серьезно относиться к тому, что заслуживает серьезного отношения, и смеяться над прочим!
212. Моцарт поглядел на меня с нестерпимой издевкой.— До чего же вы патетичны! Но вы еще научитесь юмору, Гарри. Юмор всегда юмор висельника, и в случае надобности вы научитесь юмору именно на виселице.

213. Вследствие этого мы приговариваем Галлера к наказанию вечной жизнью и к лишению на двенадцать часов права входить в наш театр.
214. И по счету «три» присутствующие самым добросовестным образом залились смехом, смехом небесного хора, ужасным, нестерпимым для человеческого слуха смехом потустороннего мира.
215. Конечно! Вас можно подбить на любую лишенную юмора глупость, великодушный вы господин, на любое патетическое занудство!
216. Вы хотите умереть, трус вы эдакий, а не жить.
217. А должны-то вы, черт вас возьми, именно жить! Поделом бы приговорить вас к самому тяжкому наказанию.
218. Вы должны научиться слушать проклятую радиомузыку жизни, должны чтить скрытый за нею дух, должны научиться смеяться над ее суматошностью. Вот и все, большего от вас не требуют.
219. Ты совсем потерял голову, ты прорвал юмор моего маленького театра и учинил безобразие, ты пускал в ход ножи и осквернял наш славный мир образов пятнами действительности.
220. О, я понял все, понял Пабло, понял Моцарта, я слышал где-то сзади его ужасный смех, я знал, что все сотни тысяч фигур игры жизни лежат у меня в кармане, я изумленно угадывал смысл игры, я был согласен начать ее еще раз, еще раз испытать ее муки, еще раз содрогнуться перед ее нелепостью, еще раз и еще множество раз пройти через ад своего нутра. Когда-нибудь я сыграю в эту игру получше. Когда-нибудь я научусь смеяться. Пабло ждал меня. Моцарт ждал меня.

*Конец текста*